

Латур Б. Почему критика выдохлась?

Посвящается Грэхему Харману (Graham Harman). Этот текст создавался при подготовке к президентской лекции в Стэнфорде, состоявшейся в центре гуманитарных наук 7 апреля 2003. Я хочу выразить искреннюю благодарность гарвардским докторантам, специализирующимся в области истории науки, за множество идей, высказанных во время дискуссий на затронутые в тексте темы, в течение того семестра.

Войны. Столько войн. Внешние и внутренние конфликты. Культурные войны, научные войны и войны с терроризмом. Война с бедностью и война с бедными. Войны с невежеством и из-за невежества. Я задаюсь простым вопросом: следует ли нам тоже воевать — нам, ученым, интеллектуалам? Разве наш долг действительно в том, чтобы добавлять новые руины к уже существующим? Действительно ли задача гуманитарных наук — дополнять деструкцию деконструкцией? Борьбу с идолами (iconoclasm) — ее новым витком? Что стало с духом критики? Неужели критика выдохлась?

Я просто подозреваю, что критика неверно выбрала цель — и это меня беспокоит. Давайте и дальше использовать соответствующую духу времени метафору: знатоки военного дела постоянно совершенствуют и пересматривают свои учения о стратегии, планы действий в нештатной ситуации, размер, траекторию и технологическую начинку своих снарядов, бомб с лазерной системой наведения, и ракет; почему же мы, только мы обходимся без такой ревизии? По-моему академическое сообщество вряд ли так же расторопно готовится ко встрече с новыми угрозами, новыми опасностями, новыми целями. Не напоминаем ли мы скорее механические игрушки, постоянно повторяющие один и тот же жест, даже когда вокруг все изменилось? Разве это было бы не ужасно, окажись, что мы все еще учим молодежь — да, наших юных рекрутов, кадетов — вести войны, которые уже невозможны, сражаться с давно исчезнувшими врагами, завоевывать уже не существующие территории, оставляя их едва готовыми к угрозам, которые мы не предусмотрели, к которым и мы сами совсем не готовы? Генералов всегда упрекали за то, что они готовы только к прошлой войне — особенно французских генералов и особенно в наши дни. Разве было бы удивительно, если бы оказалось, что интеллектуалы тоже запаздывают ровно на одну войну, на один виток критики — особенно французские интеллектуалы, особенно сейчас? Ведь прошло уже достаточно много времени с тех пор, как интеллектуалы были в авангарде. Несомненно, уже давно и само понятие авангарда — будь то пролетарского или художественного — вышло из употребления, вытесненное другими силами, оказалось в арьергарде или и вовсе свалено в обоз за ненужностью¹. Да, мы еще можем воспроизвести ритуалы критического авангарда, соблюдая все формальности, но жив ли еще его дух?

В эти тяжелые времена я хочу обратить внимание на некоторые проблемы — не для того, чтобы еще больше расстроить читателя, но чтобы постараться сделать шаг вперед, чтобы как можно скорее найти нашим скромным силам новое применение. Моим доказательством будут не факты, а скорее едва заметные знаки и намеки, навязчивые сомнения,

¹ О том, что случилось с авангардом и критикой в целом, подробнее сказало в: Iconoclasm: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art / Latour B., Weibel P. (eds.). Cambridge, Mass., 2002. Эта статья в значительной степени представляет собой исследование других возможностей, помимо войн образов.

красноречивые и смущающие приметы. Что произошло с критикой, если передовица в «Нью-Йорк Таймс» содержит следующие фразы:

Большинство ученых считают, что [глобальное] потепление вызвано в основном загрязняющими веществами искусственного происхождения, оборот которых необходимо строго контролировать. Г-н Лунц [аналитик Республиканской партии], очевидно как кажется, соглашается с этим, замечая что «научная дискуссия завершается не в нашу пользу». Однако он советует помнить и всячески подчеркивать, что представленных доказательств недостаточно.

«Если общественность посчитает научные вопросы решенными, — пишет он, — ее взгляды на глобальное потепление изменятся соответствующим образом. Поэтому следует по-прежнему считать *недостаток научной достоверности* основной проблемой».²

Каково? Искусственно поддерживаемая научная полемика для содействия «новой экологической анти-науке» (brownlash³) как выразились бы Пол и Анна Эрлич⁴.

Теперь вы понимаете, что меня беспокоит? Я сам в прошлом потратил немало времени на демонстрацию «недостатка научной достоверности», неизменно сопровождающего конструирование фактов. Я тоже делал его «основной проблемой». Но моей целью не было одурачить публику, скрывая от нее достоверность решающего довода — или было? Ведь, в конце концов, меня обвиняли именно в этом грехе. Тем не менее, мне хотелось бы верить, что напротив, я стремился освободить (эмансипировать) общественность от власти преждевременно натурализованных и объективированных фактов. Неужели я совершил глупую ошибку? Неужели ситуация изменилась так быстро?

В таком случае опасность представляет уже не избыточное доверие к идеологическим аргументам, маскирующимся под факты (matters of fact⁵) — с этим мы научились эффективно бороться — но избыточное недоверие к подлинным фактам, замаскированным под порочные идеологические предубеждения! Потратив годы на попытки выявить реальные предрассудки, скрытые за иллюзией объективных утверждений, должны ли мы теперь выявлять объективные и неопровержимые факты, прячущиеся за *миражом*

² Environmental Word Games // New York Times, 15 Mar. 2003, P. A16. Кажется, Лунцу сопутствовал успех; позже я прочел в передовице «Wall Street Journal»:

Есть выход получше [чем принятие ограничивающего свободу предпринимательства закона] — продолжать спор о заслугах. Ученые не достигли согласия в вопросе о том, служат ли парниковые газы причиной слабой тенденции к глобальному потеплению, и тем более в вопросе о том, принесет ли потепление больше вреда, чем пользы или сможем ли мы в принципе как-то влиять на его ход.

Если республиканцы согласятся с тем, что выброс парниковых газов следует контролировать, поддержка более вредного для экономического регулирования станет лишь вопросом времени. Но всегда можно остаться верными своим принципам и вместо того, чтобы соглашаться, постараться вести просветительскую работу среди общественности. (A Republican Kyoto // Wall Street Journal, 8 Apr 2003, P. A14.)

³ Буквально «коричневая критика» – политика по подпитке негативной реакции (backlash) на меры по защите окружающей среды (green policies), преднамеренная попытка свести на нет серьезность проблем окружающей среды при помощи искажения и подтасовки научных аргументов и данных. – *Прим.ред.*

⁴ Ehrlich P.R., Ehrlich A.H. Betrayal of Science and Reason: How Anti-Environmental Rhetoric Threatens Our Future. Washington D.C., 1997. P.1.

⁵ Matter of fact – термин, введенный в философию Юмом, в русских переводах его текстов обычно дается как «факт».

предрассудков? Ведь все еще действуют целые докторские программы, дабы добрая американская молодежь на горьком опыте убедилась, что факты сфабрикованы, что не существует естественного, непосредственного, непредубежденного доступа к истине, что мы всегда находимся в плену у языка, что мы всегда говорим с определенной точки зрения и так далее, в то время как опасные экстремисты используют ту же самую аргументацию социального конструктивизма чтобы разрушить таким тяжелым трудом собранные доказательства, которые могли бы спасти нашу жизнь. Правильно ли я поступил, когда участвовал в изобретении этой дисциплины под названием «исследования науки»? Достаточно ли сказать, что мы имели в виду вовсе не то, что мы высказали? Почему у меня словно жжет во рту, когда я говорю, что глобальное потепление — это факт, нравится вам это или нет? Почему я не могу просто сказать, что спор закончен навсегда?

Следует ли мне успокоить себя, заметив, что «плохие парни» вольны использовать любое попавшееся им под руку оружие — будь то натурализованные факты или социальное конструирование — когда оно им подходит? Следует ли нам извиниться за то, что с самого начала мы были не правы? Или следует скорее обратить меч критицизма против самого критицизма и заняться переоценкой ценностей: к чему мы на самом деле стремились, когда так решительно демонстрировали социальную обусловленность научных фактов? Ничто, в конечном счете, не гарантирует нам постоянную правоту. Даже у критицизма нет надежной опоры. Не это ли пытался донести критицизм: ничто не имеет надежного основания?⁶ Но если это положение об отсутствии надежного основания отбирают у нас самые что ни на есть «плохие парни», чтобы использовать в борьбе против всего, что нам дорого — что это значит?

Искусственно поддерживаемая полемика — не единственный тревожный знак. Что стало с критикой, если французский генерал, нет, маршал критики, а именно, Жан Бодрийяр, заявляет на страницах своей книги, что башни-близнецы обрушились под собственным весом, так сказать, подточенные присущим капитализму абсолютным нигилизмом — словно бы самолеты террористов повлекла в самоубийственную атаку мощная сила притяжения этой черной дыры ничто?⁷ Что стало с критикой, если книга, в которой утверждается, что на Пентагон никогда не падал самолет, может стать бестселлером? Мне стыдно сказать, что ее автор тоже француз⁸. Помните старые добрые времена, когда ревизионизм запаздывал на десятки лет, и показывался, только когда уже были твердо и основательно установлены факты, собрана доказательная база? Теперь мы сталкиваемся с тем, что можно назвать *«мгновенным ревизионизмом»*. Еще не улеглась пыль, а десятки теорий заговора уже переписывают и деконструируют официальную версию событий, оставляя руины на руинах и свежие облака дыма там, где еще не развеялись старые. Что стало с критикой, если мой сосед по маленькой деревушке в Бурбонне снисходительно считает меня безнадежно наивным субъектом, потому что я верю, что США атаковали террористы? Помните старые добрые времена, когда университетские профессора могли смотреть свысока на неотесанных «простолюдинов», потому что эти «деревенщины»

⁶ Метафору «зыбучих песков» использовали неомодернисты в своей критике исследований науки: см. A House Built on Sand: Exposing Postmodernist Myths about Science, по редакцией Норетты Кёртге (Noretta Koertge) (Оксфорд, 1998). Проблема в том, что авторы данного издания обратили свой взгляд в прошлое, пытаясь вернуться в прочный каменный замок модернизма, а не в будущее, на то, что я, за отсутствием лучшего термина, называю *«нонмодернизмом»*.

⁷ См. Жан Бодрийяр, «Дух Терроризма» и «Реквием по башням-близнецам» (Нью-Йорк, 2002).

⁸ См. Тьерри Мейсан (Thierry Meyssan), «11 сентября: большая ложь» (Лондон, 2002). Теории заговора существовали всегда; новое веяние этого мгновенного ревизионизма — претензия на имитацию столь большого количества научных доказательств.

наивно верили в церковь, любовь матери и яблочный пирог? Все очень сильно изменилось, во всяком случае, в моей деревне. Я теперь последний, кто наивно верит в какие-то факты, потому что я образован, а другие слишком безыскусны, чтобы быть настолько простыми: «Где ты был? Ты разве не знаешь, что за этим стоят Моссад и ЦРУ?». Что стало с критикой, если кто-то столь именитый, как Стенли Фиш, «враг обещаний», как его называет Линдси Уотерс, верит, что защищает исследования науки, мою область деятельности, сравнивая законы физики с правилами бейсбола?⁹ Что стало с критикой, когда возникла целая индустрия по опровержению высадки на Луне в рамках программы «Аполлон»? Что стало с критикой, когда Управление перспективных исследовательских программ в области обороны использует для своего проекта полной информационной прозрачности лозунг Бэкона «Знание – сила»? Не читал ли я это где-то у Мишеля Фуко? Оказывается, формулу «знание/сила» недавно реквизирировало Агентство национальной безопасности? Видимо, г-н Риджу полюбили читать на ночь «Надзирать и наказывать» (рис. 1)?



Рисунок 1.

Позвольте мне немного побрюзжать. В чем настоящая разница между конспирологами и теми, кто продвигает популярную, т.е. пригодную для преподавания, версию социальной критики, вдохновленную слишком беглым чтением, скажем, работ такого выдающегося социолога как Пьер Бурдьё (вежливости ради я буду приводить в пример французских полевых командиров)? И те и другие научились с подозрением относиться ко всему, что

⁹ См. Линдси Уотерс, «Враг обещаний» (Enemy of Promises) (готовится к изданию); см. Также Ник Паумгартен (Nick Paumgarten), Dept. of Super Slo-Mo: No Flag on the Play, The New Yorker, 20 Jan. 2003, p.32.

говорят люди, ведь безусловно, как нам всем известно, они живут в плену иллюзий, которые порождаются их подлинными мотивами. Затем, когда воцарилось недоверие и требуется объяснить, что же происходит на самом деле, все они опять апеллируют к скрытым во мраке наделенным властью агентам, действующим постоянно, неустанно и последовательно. Конечно, в академическом сообществе предпочитают использовать более возвышенные причины — общество, дискурс, знание/сила, поля сил, империи, капитализм — в то время как конспирологам нравится изображать жалкие кучки жадных субъектов с преступными намерениями. Однако мне видится что-то пугающе похожее в структуре аргументации, в начальной теме недоверия, сменяющейся чередой объяснений, обнажающих берущие начало в темных глубинах причинно-следственные связи. Что если объяснения, автоматически задействующие власть, общество, дискурс, изжили себя и годятся теперь только для критики самого наивного толка?¹⁰ Возможно, я слишком серьезно отношусь к теориям заговора, но я с тревогой замечаю многое из арсенала социальной критики в этой безумной смеси рефлекторного недоверия, педантичного требования доказательств и вольного использования объяснений, сводящих причины к действию властных сил из социального «где-то там». Конечно, теории заговора применяют абсурдно деформированную версию нашей аргументации, но, как и оружие, попавшее путем контрабанды через спорную границу не в те руки, эта аргументация тем не менее остается нашим оружием. Несмотря на все превращения, на ней легко заметить, все еще словно выгравированный на поверхности металла, наш товарный знак: «сделано в Стране Критики».

Вы понимаете, что меня беспокоит? Возможно, угрозы изменились настолько, что, в то время как мы нацеливаем наши ракеты на восток или запад, враг переместился в совершенно другое место. В конце концов, тонны ядерных боеголовок превращаются в тонны мусора, когда самый животрепещущий вопрос — как обороняться от боевиков, вооруженных канцелярскими ножами для картона и «грязными» бомбами. Почему подобное не может произойти и с нашим арсеналом, с нейтронными бомбами деконструкции и ракетами анализа дискурса? Или, может быть, дело в том, что критика претерпела миниатюризацию, точно так же, как компьютеры? Мне всегда казалось, что нечто требовавшее огромных усилий, занимавшее огромные комнаты, стоившее огромных количеств пота и денег для людей вроде Ницше или Бенъямина, теперь можно получить практически за бесценок — так и суперкомпьютерам 50-х годов, занимавшим огромные залы, потреблявшим огромные количества электроэнергии и выделявшим огромные количества тепла, сейчас соответствуют по мощности дешевые машины размером не больше ногтя. Как гласит рекламный слоган недавнего голливудского блокбастера, «Все под подозрением... Все продается... Все не так, как кажется».

Может, вы гадаете, что со мной? Может, это лишь очередной случай кризиса среднего возраста? Нет, увы, средний возраст для меня давно позади. Может, это аристократическая злость от того, что критика становится популярной? Уверенность, будто критику следует хранить лишь для элиты, сохраняя ее сложность и утомительность, уподобив ее развлечениям вроде альпинизма или яхтинга — а если она доступна любому за копейки, эта

¹⁰ Как их серьезные, так и их популяризированные версии обладают одним недостатком: используют общество как уже существующую причину, а не как возможное последствие. Такова была критика Габриэля Тарде (Gabriel Tarde) в адрес Дюркгейма. Возможно, в ослаблении критики виноваты понятия общества и социального. Я пытался продемонстрировать это в статье «Габриэль Тард и конец социального» (Gabriel Tarde and the End of the Social) в сборнике СМОТРИ НАСТ. ИЗДАНИЕ

игра больше не стоит свеч? Чем плоха была бы «народная критика»? Мы столько жаловались на доверчивые массы, заглатывающие натурализованные факты, что было бы нечестно теперь порицать те же массы за их, как бы лучше выразиться, «наивный критицизм»? Или, может быть, это просто безумие радикализма, подобное революции пожирать своих детей? Или мы были похожи скорее на сумасшедших ученых, выпустивших вирус критики из своих лабораторий и бессильных остановить разрушения, которые несет мутировавший вирус, поражающий все подряд. Или это очередной пример действия знаменитой способности капитализма перерабатывать и брать в оборот все, что пытается его разрушить? Как говорят Люк Болтански и Эв Кьяпелло, новый дух капитализма нашел отличное применение для художественной критики, которая была призвана его разрушить¹¹. Если твердолобый реакционный морализатор-буржуа, покуривающий сигару, может преобразиться в свободно парящего богемного агностика, с легкостью перемещающего свои мнения, капиталы связи из одного уголка планеты в другой, то почему он не может освоить самые изощренные средства деконструкции, социального конструктивизма, анализа дискурса, постмодернизма, постологии?

Несмотря на свой тон, я не стремлюсь изменить ход вещей и стать реакционером. Я не жалею о своих действиях и не клянусь навсегда отказаться от конструктивизма. Я просто хочу заняться тем, чем любой хороший офицер занимается регулярно: проверить соответствие своего снаряжения и подготовки новым угрозам — и, если потребуется, полностью обновить всю необходимую экипировку. Для нас признание собственной неправоты значит не больше, чем для офицера — только то, что история не стоит на месте и что нет интеллектуального преступления тяжелее, чем сражаться с современными врагами оружием из прошлого. В любом случае, инструменты нашей критики заслуживают столь же тщательного анализа и проверки, как и бюджет Пентагона.

Мой аргумент состоит в том, что определенная форма критического духа сбивала нас с правильного пути и заставила драться не с теми врагами и, что еще хуже, привлекать не тех союзников, которых мы хотели бы видеть рядом — все из-за небольшой ошибки в определении основной цели. Нашей целью должно было стать не избавление от фактов, но приближение к ним, не борьба с эмпиризмом, но, напротив, его обновление.

Я попытаюсь показать, что критический разум, чтобы обновить себя и снова стать актуальным, должен непреклонно культивировать реалистическую установку — выражаясь языком Уильяма Джеймса. Но данный реализм должен иметь дело не с фактами, а с проблемами (*matters of concern*¹²). Ошибка, которую совершили мы все, и я в том числе, — это вера в то, что единственный эффективный способ критиковать факты состоит в том, чтобы отказаться от них и обратить все свое внимание на условия их возможности. Но это предполагает слишком некритичное определение фактов. Мы слишком сильно держались за неудачное решение, доставшееся нам в наследство от философии Канта. Хотя критика и наступала на больные мозоли, она еще не была достаточно критичной. Реальность не определяется фактами. Факты — еще не все, что дает опыт. Факты — это всего лишь очень неполные, предвзятые и, я бы сказал, очень спорные и очень политические интерпретации проблем, и лишь составная часть того, что можно было бы назвать положением дел. Именно этот новый эмпиризм, это возвращение к реалистической установке я хочу предложить критически настроенным интеллектуалам.

¹¹ Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

¹² «Проблема» является нейтральным вариантом перевода «*matters of concern*», но следует иметь в виду сильные хайдеггеровские коннотации «*concern*» («забота»), а также весь ряд значений: вопрос, требующий решения, дело интерес, озабоченность, беспокойство. — *Прим.ред.*

Указывая общее направление подобной аргументации, я хочу продемонстрировать, что Просвещение, хотя ему очень пригодился такой мощный описательный инструмент как факты, идеальный для разоблачения множества верований, скрытых сил и иллюзий, оказалось полностью безоружным, когда все тот же разоблачительный импульс смел и факты. После этого свет Просвещения медленно померк и в университетах воцарилась своеобразная тьма. Я задаю следующий вопрос: возможно ли создать другой мощный описательный инструмент, теперь уже имеющий дело с проблемами, служащий уже не для разоблачения, а для защиты и заботы, как говорит Донна Харауэй (Donna Haraway)? Действительно ли возможно преобразить критический пафос в этос тех, кто прибавляет к фактам реальность а не вычитает? Другими словами, в чем разница между деконструкцией и конструктивизмом?

Вы могли бы возразить: «Пока что перспектива не кажется такой радужной. Сдается, что вы, мсье Латур, меньше всего подходите на роль исполнителя этого обещания, потому что всю свою жизнь вы разоблачали то, что другие, более вежливые критики до того хотя бы уважали — а именно, факты и науку саму по себе. Сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, оскал его выдаст; вы порядком обточили зубы вашей деконструкции о наши невинные лаборатории, чтобы мы теперь верили вам». Что ж, в этом-то и проблема: я написал дюжину книг, с целью внушить уважение к объектам науки и технологии, искусства, религии и, в последнее время, законодательства, книг, даже, как сказали некоторые, их некритично восхваляющих, где каждый раз подробно показывал абсолютную невозможность социологического объяснения этих объектов, и, тем не менее, читатели слышат только рычание разъяренного зверя. Разве невозможно решить этот вопрос — писать не о фактах, а о проблемах?¹³

Мартин Хайдеггер, как известно любому философу, много раз размышлял над древней этимологией слова «вещь» (thing). И теперь мы все знаем, что во всех европейских языках, включая русский, существует ярко выраженная связь между словами, обозначающими вещь и прообраз законодательного собрания. Исландцы гордятся тем, что имеют самый древним парламентом, который они называют *Альтинг* (Althing). А во многих скандинавских странах еще можно посетить места для собраний, называемые «Тингами» (*Ding* или *Thing*). Разве это не удивительно, что банальный термин «вещь», которым мы обозначаем нечто, находящееся вовне, вне обсуждения и вне языка — это одновременно одно из древнейших слов, которое использовалось для обозначения мест, где наши далекие предки решали свои дела и разрешали свои споры¹⁴? Вещь – это, в одном смысле, объект, лежащий *вовне*, а, в другом – *дело, возникающее в кругу заботы*. (спорный случай, положение дел, в-близии) Во всяком случае, вещь это *собрание*. Уточню значение уже введенного мной термина: слово «вещь» обозначает одновременно и факт, и проблему.

Само собой разумеется, это не тот путь, который в итоге избрал Хайдеггер, хотя он и уделил значительное внимание этому этимологическому аспекту. Напротив, во всех его работах решительно подчеркивается различие между, с одной стороны, предметами, *Gegenstand* и, с другой стороны, прославляемой Вещью, *Ding*. Сделанная вручную чаша может быть вещью, в то время как произведенная промышленно жестяная банка для колы остается предметом.

¹³ Именно этого удалось достичь великому романисту Ричарду Пауэрсу, чьи произведения — аккуратное и, на мой взгляд, мастерское исследование этого нового «реализма». В контексте данной статьи особенно актуальна книга *Plowing in the Dark*. New York, 2000.

¹⁴ См. в высшей степени тщательное исследование замечательного французского специалиста по римскому праву, Яна Тома (Yan Thomas), *Res, chose et patrimoine* (note sur le rapport sujet-objet en droit romain), *Archives de philosophie du droit* 25 (1980): 413-26.

Падение в пустоту науки и технологии — удел последнего, и только первая, благодаря почтительному обращению искусства, ремесла и поэзии, может задействовать и сформировать вокруг себя богатую совокупность связей.¹⁵ Это разделение, пусть и не слишком явно, Хайдеггер отмечает в своей книге о Канте:

До настоящего времени такие вопросы остаются открытыми. Возможность их постановки затемняется результатами и прогрессом научной работы. Один из этих насущных вопросов касается права и границ математического формализма - в противовес требованию непосредственного возврата к данной в созерцании природе.¹⁶

История тех, кто, подобно Хайдеггеру, старался найти выход в непосредственности, интуиции и природе слишком печальна, и, к тому же хорошо известна. Зато совершенно ясно, тропинки, ведущие прочь от торной дороги, действительно вели в никуда. Тем не менее, Хайдеггер, так серьезно рассуждая о чаше, дает нам богатый словарь и для описания предметов, которые он так презирает. Интересно, что бы произошло, если бы мы попытались говорить об объекте науки и технологии, предмете, или *Gegenstand*, так, будто бы он наделен богатыми и сложными атрибутами воспеваемой Вещи?

Беда философов в том, что тяжелая работа заставляет их литрами пить кофе, и потому в своих объяснениях они без всякой меры используют чашки и горшки, время от времени разбавляя их бульжниками. Однако, как давно уже заметил Людвиг Флек, их объекты никогда не бывают достаточно сложными; а точнее в их изготовлении никогда не участвуют одновременно сложная история и новые, реальные и интересные обитатели вселенной.¹⁷ Философия никогда не имеет дела с тем, с чем работают исследования науки. Вот почему полемика между реализмом и релятивизмом всегда остается бесплодной. Как недавно продемонстрировал Ян Хакинг (и это у него получилось весьма виртуозно), камень оказывается по-разному задействован в философской дискуссии, если взять самый что ни на есть заурядный камень для доказательства своей точки зрения (обычно — побить им подвернувшегося релятивиста!) или если использовать, например, доломит.¹⁸ Первый может быть преобразован в факт, второй – нет. Доломит настолько сложен и вовлечен в такое количество связей, что его не удастся рассматривать как факт. При этом его можно описать как собрание и рассматривать как центр четверицы. Почему бы не рассуждать о нем таким же сложным, заинтересованным и оживленным образом, как о хайдеггеровской чаше? Ошибка Хайдеггера не в том, что он слишком трепетно относился к чаше, а в том, что его дихотомия *Gegenstand* и Вещи зиждется на самых грубых предрассудках.

Несколько лет назад другой философ, более близкий к истории науки, а именно Мишель Серр, тоже француз, но в то же время настолько далекий от критики, насколько возможно, размышлял о том, что означал бы серьезный антропологический и онтологический подход к объектам науки. Интересно заметить, что каждый раз, когда философ подбирается к объекту науки, который одновременно актуален и наделен историческим измерением, его философия меняется, и **свойства** реалистической установки становятся более определенными и совершенно отличными **от присущих** так называемой реалистической

¹⁵ См.: *Harman G. Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects*. Chicago, 2002.

¹⁶ *Gesamtausgabe* 41, P. 95. Латур цитирует по: *Heidegger M. What Is a Thing?* Chicago, 1967. P.95.

¹⁷ Хотя Флек и основал исследования наук, его влияние в полной мере проявится только в далеком будущем, так как Томас Кун весьма неверно понял его работы; см.: Кун Т. Предисловие к английскому переводу // Флек Возникновение и развитие научного факта. М., 1999. С.19-24.

¹⁸ См. Ян Хакинг, *The Social Construction of What?* (Cambridge, Mass., 1999), особенно последнюю главу.

философии науки, занимающейся рутинными и скучными объектами. Я читал отрывок о катастрофе «Челленджера» из его книги «Статуи», когда другой шаттл, «Колумбия», в начале 2003 г. послужил трагическим примером очередного превращения объекта в вещь.¹⁹

Как еще описать эту неожиданную трансформацию полностью управляемого, абсолютно понятного, совершенно забытого СМИ и принимаемого как должное снаряда-факта космического корабля во **внезапный** дождь падающих на территорию США обломков, которые тысячи людей бросились искать в грязи под дождем, чтобы собрать их в огромном зале в качестве улики в юридическом и научном расследовании? За одно мгновение объект превратился в вещь, факт (matter of fact) превратился в важную проблему (matter of great concern). Если, как говорит Хайдеггер, вещь — это собрание, то удивительно, насколько внезапно это собрание может быть *распущено*. Если «веществу, вещь дает пребывать собранию четверых – земле и небу, божествам и смертным – в одно-сложности их собою самой единой четверицы»²⁰, то можно ли привести более яркий пример подобного собирания и уничтожения, чем эта приводящая к разрыву тысяч связей катастрофа? Можно ли рассматривать это событие как обычную технологическую аварию, если в своей речи, посвященной несчастным жертвам, президент США сказал: «Команда шаттла Колумбия не вернулась на Землю в целостности и сохранности; но все же мы можем молиться за то, чтобы они оказались дома»²¹? Словно бы ни один шаттл никогда не отправлялся только в космосе, но всегда еще и на небеса.

В начале февраля 2003 г., когда эту катастрофу освещал канал C-Span 1, канал C-Span 2 в тоже самое время рассказывал о другом необычном событии. В этом случае Вещь — с большой буквы — была собрана, чтобы попытаться объединиться, сосредоточиться в одном решении, на одном объекте, одном применении силы: военном ударе по Ираку. Опять-таки трудно было сказать, было ли это собрание трибуналом, парламентом, боевым командным пунктом, клубом миллиардеров, научным конгрессом или студией телешоу. Но, несомненно, это было собрание, где ставились, обсуждались и решались важные проблемы — однако вид требующихся доказательств и их точность вызывали значительное замешательство. Разница между двумя каналами, которые я смотрел в недоумении, заключалась в том, что в случае с шаттлом «Колумбия» полностью управляемый объект внезапно превратился в дождь горящих обломков, представляющих собой лишь улики для расследования; а в ООН происходило расследование, стремившееся собрать в один объединяющий, единодушно принимаемый, устойчивый, управляемый объект людские массы, мнения и силы. В одном случае объект превратился в вещь, во втором случае вещь пыталась стать объектом. Можно было наблюдать в одном случае конец, а в другом – начало траектории, которую проходят проблемы, чтобы стать фактами. В обоих случаях нам представилась уникальная возможность взглянуть на все определенное число *вещей*, которые непременно участвуют в собирании *объекта*. Хайдеггер не добился больших успехов в области антропологии науки и технологии; он оперировал только четырьмя силами, в то время как самый небольшой шаттл, самая короткая война задействуют миллионы. Сколько богов, страстей, властей, институтов, технологических и дипломатических практик, разумов нужно сложить воедино, чтобы связать «землю и небо, божеств и смертных» — о да, особенно смертных. (Пугающее предзнаменование — начинать такую сложную войну как раз тогда, когда прекрасно

¹⁹ См. Serres M. Statues: Le Second Livre des foundations. Paris, 1987. О том, почему Серр никогда не примыкал к критицизму, см. Serres M., Latour B. Conversations on Science, Culture and Time. Ann Arbor, 1995.

²⁰ Хайдеггер М. Вещь // Время и бытие. М., 1993. С. 323.

²¹ Bush Talking More about Religion: Faith to Solve Nation's Problems, веб-сайт CNN, 18 февраля 2003, www.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/02/18/bush.fait/

контролируемый объект вроде шаттла раскололся на тысячи падающих с неба обломков — но знака никто не заметил: богов теперь призывают только для удобства).

Я пытаюсь донести простую мысль: вещи снова стали Вещами, объекты вернулись на сцену, на вече, где они должны быть собраны, чтобы существовать впоследствии как нечто *самостоятельное*. Скобки, которые можно назвать «скобками Нового времени», внутри которых с одной стороны существовал мир объектов, *Gegenstand*, не касавшийся парламента, форума, агоры, конгресса, суда и, с другой стороны – целая совокупность форумов, мест встречи, городских советов, где проходили дискуссии – эти скобки раскрылись. То, что этимология слова «вещь» — *chose, causa, res, aitia* — таинственным образом сохранила для нас как элемент легендарного, мифического прошлого, теперь стало самым заурядным настоящим прямо у нас на глазах. Теперь вещи снова собираются. Разве не было чрезвычайно волнительно наблюдать при обсуждении проекта реконструкции южной части Манхэттена огромные толпы, сердитые сообщения, страстные письма, обширные агоры, длинные передовицы, которые связывали так много людей с таким множеством вариантов проекта замены башен-близнецов? Как сказал архитектор Даниэль Либерскинд за несколько дней до принятия решения, строить по-старому больше невозможно.

Достаточно лишь раскрыть газету, чтобы обнаружить сразу несколько бывших объектов, снова ставших вещами — от уже упомянутого глобального потепления до гормонального лечения при менопаузе, от работ Тима Лемуара, исследований приматов Линдой Федиган и Ширли Струм или гиен в работах моего друга Стивена Гликмана²².

Эти собрания не являются чертой лишь настоящего времени, как если бы объекты только недавно с такой очевидностью предстали как вещи. Каждый день истории науки показывают нам, до какой степени мы никогда не жили в эпоху нового времени – они постоянно пересматривают каждую составляющую того, что в прошлом считалось фактами – от Галилея Марио Бьяджиоли, Бойля Стивена Шейпина и Ньютона Саймона Шэффера до невероятно запутанных взаимосвязей между Эйнштейном и Пуанкаре, которые описал в своем недавнем шедевре Питер Галисон.²³ Конечно, можно было бы привести еще много примеров, но важнее всего для меня сейчас сказать, что нечто, позволившее историкам, философам, специалистам в области гуманитарных наук и критикам провести границу между новым временем и тем, что ему предшествовало, а именно, внезапное и в каком-то смысле чудесное появление фактов, теперь находится под сомнением из-за того что факты погружаются в крайне сложные, исторически локализованные, многообразные проблематизации. С электрической синхронизацией часов патентного бюро Эйнштейна в Берне нельзя обращаться так же, как с чашками, кувшинами, булыжниками, лебедями, кошками, матрасами. Вещи, которые собирают, нельзя выдавать за объекты.

И все-таки я хорошо знаю, что этого не достаточно, так как, что бы мы ни делали, пытаюсь заново соединить объекты науки с их аурой, их короной, их сетью ассоциаций, возвращая их туда, где они были собраны, кажется, что мы всегда *ослабляем*, а не *усиливаем* их претензию на реальность. Я знаю, что мы действуем с наилучшими намерениями, что мы пытаемся

²² Для описания этой промежуточной фазы между вещью и объектом Серр предложил термин «квази-объект» (*quasi-object*). Это гораздо более интересный философский вопрос, чем старый вопрос об отношении между словами и мирами. О новом подходе ученых к исследованию животных и полемике, которую он порождает, см.: *Primate Encounters: Models of Science, Gender and Society* / Strum S., Fedigan L. (eds.). Chicago, 2000; *Despret V. Quand le loup habitera avec l'agneau*. Paris, 2002.

²³ См. *Galison P. Einstein's Clocks, Poincaré's Maps: Empires of Time*. New York, 2003.

добавить реальности к объектам науки, но неизбежно, за счет какой-то трагической систематической ошибки, мы постоянно отнимаем какую-то ее часть. Мы похожи на неуклюжего официанта, который ставит тарелки на наклонный стол, и каждое аппетитное блюдо соскальзывает и падает на пол. Почему нам никогда не удастся обнаружить то же упрямство, такой же прочный реализм, выявляя показывая очевидно сетевые, «вещные» характеристики проблем? Почему не удастся опровергнуть заявление реалистов о том, что только факты могут удовлетворить их аппетит, а проблемы похожи на новомодные блюда, приятные взгляду, но не утоляющие сильный голод?

Конечно, одна из причин — положение, отведенное объектам в большинстве социальных наук — положение настолько смехотворно бесполезное, что если хоть в какой-то мере задействовать его в исследованиях науки, технологии, религии, закона или литературы, то любое серьезное рассмотрение объективности — т.е. «вещности» — станет абсолютно невозможным. Почему? Позвольте обрисовать критический пейзаж в его обычном состоянии.²⁴

По моим оценкам 90% современных критических исследований могут быть сведены к следующей серии схем, где фиксирующих объект только в двух позициях – позиции *факта* и позиции *иллюзии (фетиша)*. Позиция иллюзии хорошо известна и постоянно используется многими исследователями социального, связывающими критицизм с антифетишизмом. В этом случае задача критика — показать, что обращение наивных «верующих» с объектами — это просто-напросто проекция их желаний на материальную сущность, которая сама по себе ничего не делает. Они взяли на вооружение обратили себе на службу пророческое осуждение идолов («есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат»), но используют это пророчество для осуждения самих объектов «веры» — богов, моды, поэзии, спорта, желания, и т.п. — объектов, за которые так отчаянно цепляются наивные «верующие».²⁵ А затем смелый критик, единственный, кто сохранил внимание и бдительность, кто никогда не дремлет, превращает эти фальшивые объекты в фетиши — ничто иное, как пустые белые экраны, на которые проецируются социальные силы, властные отношения и все что угодно. Наивному верующему нанесен первый удар (рис. 2).

МЕТОДОЛОГИЯ КРИТИКИ: ЭТАП ПЕРВЫЙ

Вы верите во власть идолов...

...заставляющую вас совершать действия...

...но на самом деле сила собственной находчивости...

...проецирует на пассивную материю вашу собственную власть.

РИСУНОК 2.

²⁴ Здесь я суммирую некоторые результаты моего давно продолжающегося антропологического исследования критического процесса, начиная с работы *Латур Б.* Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006 до *Latour B.* Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Harvard University Press, Cambridge Mass., 1999 и, конечно, *Iconoclasm: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art* // Latour B., Weibel P. (eds.). MIT Press, 2002.

²⁵ См.: *Pietz W.* The Problem of the Fetish, I // Res. 1985. №9. P. 5–17; *Idem* The Problem of the Fetish, II: The Origin of the Fetish // Res №13. 1987. P.23–45; *Idem* The Problem of the Fetish, IIIa: Bosman's Guinea and the Enlightenment Theory of Fetishism // Res.1988. №16. P.105–23.

Но это еще не все: готовится еще один удар, теперь уже с полюса фактов. На этот раз поведение несчастного, захваченного врасплох, «объясняется» мощным действием неоспоримых фактов: «Вы, заурядные фетишисты, верите в собственную свободу, но на самом деле находитесь под действием сил, которые не осознаете. Посмотрите же на них, вы, слепые идиоты» (а далее говорится об излюбленных фактах исследователей социального, порожденных экономической инфраструктурой, дискурсивными полями, социальным господством, расой, классом, гендером; можно также добавить немного нейробиологии, эволюционной психологии, и чего угодно — главное, чтобы это выступало как неоспоримые факты, чье происхождение, производство, способ развития остаются неисследованными) (рис. 3).

МЕТОДОЛОГИЯ КРИТИКИ: ЭТАП ВТОРОЙ

Вы верите в свободу и силу собственной воли...

...позволяющие создавать вещи из пассивной материи...

...но на самом деле не желая того вы действуете под влиянием...

...неотвратимых сил генов, интересов, побуждений и т.п. ...

РИСУНОК 3.

Понимаете, почему так приятно быть критиком? Почему критика, этот в высшей степени двусмысленный *pharmakon* стал сильным наркотиком, вызывающим такую эйфорию? Вы всегда правы! Когда наивные верующие из последних сил цепляются за свои объекты, утверждая, что их действиями движут желанные объекты, боги или поэзия и т.п., можно превратить все эти привязанности в фетиши и унижить «верующих», показав, что все это не более чем их проекции, которые только вы как критик способны видеть. Но как только наивные «верующие» почувствуют собственную значимость, поверят в свою проецирующую способность, вы наносите им новый удар и унижаете их снова, на этот раз показав, что их поведение, что бы они не думали, полностью обусловлено действием мощных причинно-следственных связей, берущих начало в невидимой им объективной реальности, которую можете видеть только вы, недремлющий критик. Ну не славно ли? Разве изучение критики в университете не оправдывает себя? «Входите, несчастные. После тяжких лет чтения напыщенных текстов вы всегда будете правы, вас больше не удастся обмануть: никто, какой бы властью он ни обладал, больше не сможет обвинить вас в наивности, этом тяжелейшем из грехов. Вы правите в одиночестве и приспособлены для этого лучше, чем сам Зевс: одной рукой вы посылаете сверху на врагов молнии антифетишизма, другой – молнии прочной каузальности объективного». В дураках оказывается только наивный верующий, великий неотесанный, которого вечно застают врасплох (рис. 4).

Удивительно ли в итоге, что отводя такую роль объекту, гуманитарные дисциплины потеряли популярность среди своих сограждан, что им приходилось год за годом отступать и окапываться во все более тесных бараках, выделяемых все более прижимистыми деканами? Зевс Критический правит безраздельно – но правит пустыней.

...но критик всегда прав!

Когда он разоблачает претензии фетишиста, демонстрируя ему созданное им самим...

...или когда он разоблачает наивную веру в свободу, демонстрируя непреодолимость детерминизма.

РИСУНОК 4.

Ясно одно: никому из читателей не нравится, когда с дорогими ему объектами обращаются таким образом. Мы бы в ужасе отшатнулись даже при намеке на их социальное объяснение, неважно, идет ли речь о поэзии или роботах, стволовых клетках, черных дырах, импрессионизме, неважно, патриоты ли мы, революционеры или законники, молимся ли мы богу или надеемся только на нейронауку. Вот почему, на мой взгляд, тем из нас, кто пытался говорить о науках как о проблематизациях, так часто не хватало убедительности; читатели путали наш способ рассмотрения бывших фактов с ужасной участью объектов, пропущенных через социологию, исследования культуры и т.д. . И я не могу винить наших читателей. То, что исследователи социального делают с нашими любимыми объектами, настолько ужасно, что мы, несомненно, не хотим подпускать их на пушечный выстрел. «Пожалуйста, — восклицаем мы, — вообще не прикасайтесь к ним! Не пытайтесь их объяснить!». Или более вежливо предлагаем: «Почему бы вам не пройти дальше по коридору и не свернуть на другую кафедру? Там-то найдутся для вас плохие факты; почему бы вам не заняться объяснением тех фактов вместо наших?». Вот почему, когда нам нужны уважение, надежность, настойчивость, прочность, мы предпочитаем держаться языка фактов, несмотря на его хорошо известные недостатки.

Тем не менее, этот путь — не единственный, потому как можно избежать жестокого обращения с объектами, которое я называю *критическим варварством*. Критический варвар настолько могуществен, потому что два механизма, действие которых я только что обрисовал, никогда не демонстрируются на одной схеме (рис. 5). Антифетишисты разоблачают объекты, в которые они не верят, демонстрируя продуктивные и проективные человеческие наклонности; затем, никак не связывая это с предыдущим, они используют объекты, в которые они верят, для механицистского или каузального объяснения и разоблачения мыслительных способностей людей, чье поведение они не одобряют. Весь довольно безыскусный трюк, за счет которого возможна такая критика (в грязный ломбард которой мы не зложим свои ценности), заключается в отсутствии *пересечения между двумя совокупностями объектов* — находящихся в позиции факта и в позиции фетиша. Вот почему можно одновременно быть, не чувствуя никакого противоречия 1) антифетишистом в отношении всего, вы что вы не верите — в основном в отношении религии, поп-культуры, искусства, политики и т.п.; 2) нераскаившимся позитивистом в отношении всех дисциплин, в которые вы верите — социологии, экономики, теории заговора, генетики, эволюционной психологии, семиотики — просто выберите свою любимую; и 3) абсолютно здоровым непреклонным реалистом в отношении того, что вам действительно дорого — и, конечно, это может быть критицизм сам по себе, но также и живопись, наблюдение за птицами, Шекспир, бабуины, протеины и т.п.

КРИТИЧЕСКИЙ ТРЮК: ДВА ОБЪЕКТА И ДВА СУБЪЕКТА

Субъект либо обладает достаточным могуществом, чтобы собственноручно создать все...

...либо представляет собой лишь поле действия детерминирующих сил, изучаемых естественными и общественными науками.

Объект — лишь экран, на который проецируется человеческая свободная воля...

...либо обладает достаточным могуществом, чтобы быть причиной, детерминирующей мысли и действия людей.

РИСУНОК 5.

Если вам кажется, что я преувеличиваю в своем мрачном изображении критического пейзажа, это потому, что у нас по существу еще не было случая выявить полную несогласованность этих трех противоречащих друг другу наборов действий — антифетишизма, позитивизма, реализма — ведь мы осмотрительно применяем их к *разным* темам. Объекты, которые нам не по нраву, мы объясняем, объявляя их фетишами; поведение, которое нам не нравится, мы объясняем с помощью дисциплин, формирование которых мы не подвергаем исследованию; и нас интересуют только те вещи, которые мы считаем важными проблемами. Но усвоить такую надменную установку и такую противоречивую методологию не могут исследователи науки, работающие с положениями дел, которые нельзя отнести ни к убедительным фетишам — потому как никто, включая нас самих, не верит в них слишком сильно — ни к неоспоримым фактам, поскольку их рождение, их медленное конструирование, их захватывающее превращение в проблемы происходят на наших глазах. Метафора коперниканской революции, так тесно связанная с судьбой критики, всегда была спорной для нас, исследователей науки. Вот почему с более чем здоровой дозой дисциплинарного шовинизма я считаю эту узкую область такой важной: это маленький камушек в ботинке, причиняет критическим варварам все более сильную боль, когда они совершают свои регулярные рейды.

Ошибочно было бы полагать, что мы тоже давали социальное объяснение научным фактам. Нет, возможно вначале мы действительно, как хорошие критики, обучавшиеся в хороших университетах, старались это сделать: использовать оружие, доставшееся нам от старших по возрасту и по званию, чтобы взломать — одно из их любимых выражений, означающее здесь «разрушить» — религию, власть, дискурс, господство. Но, к счастью (да, к счастью!), один за другим мы стали замечать, что черные ящики наук остаются закрытыми и что разобранными и сломанными в пыли наших мастерских оказывались скорее наши инструменты. Проще говоря, критика просто-напросто была бесполезна против сколько-нибудь прочных и устойчивых объектов. Можно разыграть карту проекции, когда речь идет об НЛО или экзотических божествах, но не стоит и пытаться, имея дело с нейромедиаторами, гравитацией, расчетами методом Монте-Карло. Критика становится бесполезной и когда она начинает некритически использовать результаты одной из наук или дисциплин, будь то сама социология, или экономика, или постколониальные исследования, чтобы объяснить поведение людей. Вы можете попробовать играть в эту жалкую игру — объяснять агрессию генетикой агрессивных людей, но попытайтесь сделать то же самое, одновременно приняв во внимание множество конфликтов и разногласий внутри самой генетики, включая теории эволюции, в которых генетики так сильно запутываются.²⁶

В обоих случаях проблемы никогда не занимают две позиции, которые отводит им критическое варварство. Объекты слишком сильны, чтобы к ним относились как к фетишам, и слишком слабы, чтобы можно было рассматривать их как неоспоримые каузальные объяснения какого-то бессознательного действия. Это относится не только к научным положениям дел; это наше открытие, заставившее исследования науки совершить такую счастливую ошибку, *felix culpa*. Как только вы поймете, что объекты науки не

²⁶ Яркий пример можно найти в: *Kupiec J.-J., Sonigo P. Ni Dieu ni gene: Pour une autre theorie de l'heredite.* Paris, 2000; см. Также: *Fox-Keller E. The Century of the Gene.* Cambridge, Mass., 2000.

поддаются социальному объяснению, вы поймете также и что так называемые слабые объекты, те, которые кажутся хорошими кандидатами для обвинений в антифетишизме, никогда не были всего лишь проекциями на белом экране.²⁷ Они тоже действуют, делают разные вещи, *побуждают вас делать разные вещи*. Не только объекты науки оказывают сопротивление, но и прочие объекты, которые, казалось бы, давно уже должны быть стерты в пыль автоматизированными рефлекторно действующими деконструкторами. Объявить нечто фетишем — это абсолютно неуместный, непочтительный, безумный и варварский жест.²⁸

Не пришло ли время двигаться дальше? Почему бы к двум позициям, позиции факта и позиции фетиша, не добавить третью позицию, *справедливое*? Неужели наша коллективная интеллектуальная жизнь не в силах породить, хотя бы раз в столетие, хоть какие-то *новые* инструменты критики? Разве не унижительно замечать, что военные более бдительны, более внимательны, более изобретательны, чем мы, гордость научного сообщества, его сливки, постоянно преобразующие весь остальной мир в наивных «верующих», фетишистов, беспомощных жертв господства, одновременно превращая их лишь в поверхностные последствия могущественных скрытых каузальностей, родом из инфраструктур, состав которых никогда не исследуется? При всем этом в глубине души мы сохраняем уверенность, что вещи, действительно дорогие нашему сердцу, никак не могут выступать в подобной роли. Вы не устали от подобных «объяснений»? Я устал, они меня всегда утомляли, поскольку я знал, например, что Бог, которому я молюсь, произведения искусства, которыми я восхищаюсь, рак толстой кишки, с которым я боролся, законодательство, которое я изучаю, желание, которое я чувствую, и даже книга, которую я пишу, никоим образом не поддаются объяснению ни как фетиш, ни как факт, ни как сочетание двух этих абсурдных позиций?

Чтобы восстановить реалистическую установку, недостаточно разрушить критическое оружие, так некритически изготовленное нашими предшественниками, как поступают с устаревшими, но все еще опасными ядерными боеголовками. Если бы нужно было демонтировать только социальную теорию, все было бы довольно просто; как Советская империя, все такие колоссы стоят на глиняных ногах. Сложность в том, что они построены на фундаменте гораздо более старой философии, так что как только мы пытаемся заменить факты проблемами, создается впечатление, что мы что-то теряем. Мы как будто пытаемся наполнить мифическую бочку Данаид: что бы мы туда ни заливали, уровень реализма не повышается. Пока мы не заделаем течь, реалистическая установка всегда будет как бы расщепленной; основным предметом внимания остаются факты, а проблемам отведена только богатая, но в сущности пустая или нерелевантная область *истории*. Больше всегда будет казаться меньшим. Хотя мне хотелось бы, чтобы эта работа сохранила свою краткость, мне потребуется еще несколько страниц, чтобы предложить способы преодоления этой бифуркации.

²⁷ Я пытался недавно использовать этот аргумент в отношении двух самых сложных типов сущностей, христианских божеств (*Latour B. Jubiler ou les tourments de la parole religieuse*. Paris, 2002) и законов (*Latour B. La Fabrique du droit: Une Ethnographie du Conseil d'Etat*. Paris, 2002).

²⁸ Выставка в Карлсруэ (Германия) под названием Icopoclash, была в каком-то смысле запоздалым ритуалом покаяния в таком буйном разрушении.

Есть известное изречение Альфреда Норта Уайтхеда: «Обратиться к метафизике — все равно что бросить спичку в пороховой склад. Взорвется все»²⁹. Но я не могу этого избежать, так как слишком много говорил о системах вооружения, взрывах, борьбе с идолами и полях сражений. Среди всех современных философов, пытавшихся преодолеть факты, Уайтхед — единственный, кто, вместо того, чтобы встать на путь критики и вместо фактов обратить внимание на то, что делает их возможным, как поступил Кант, или добавить что-то к их голой структуре, как поступил Гуссерль, или насколько возможно избегать их судьбы господства, их *Gestell*, как поступал Хайдеггер, — он единственный, кто пытался приблизиться к ним или, точнее, увидеть сквозь факты реальность, требующую нового, уважительного реалистического отношения. Никто не является еще меньшим критиком, чем Уайтхед, и удивительно, что он проявлял враждебность только в отношении того, кого считают, на мой взгляд, несправедливо, величайшим философом двадцатого века — Витгенштейна.

Яркая отличительная черта, благодаря которой Уайтхед остается в стороне от магистральной философии и оказывается нашим попутчиком — это то, что он считал факты очень скудным выражением того, что дано в опыте и чем-то, что подменяет вопрос «Что есть?», вопросом «Как мы можем это знать?», как отметила Изабель Стенгерс в своей важной книге о философии Уайтхеда³⁰. Те, кто сейчас смеется над его философией, не понимают, что покорились тому, что он называл «бифуркацией природы». Они совсем забыли о том, что значило бы принять всерьез это удивительное замечание: «Для натурфилософии все, что воспринимается — часть природы. Мы не можем выбирать. Для нас красный отблеск заката должен быть в такой же степени частью природы, как и молекулы и электрические волны, которыми ученые объяснили бы этот феномен»³¹.

Все последующие философские школы занимались прямо противоположным: они выбирали и отбирали, и, что хуже, оставались вполне довольны этим ограниченным выбором. Устранить эту бифуркацию — не значит добавить к скучным электрическим волнам богатый жизненный мир сияющего солнца, как поступили бы феноменологи. Это сделало бы бифуркацию еще более значительным. Решение, или, скорее, приключение, сказал бы Уайтхед, состоит в том, чтобы продвинуть реалистическую установку дальше и понять, что факты — это абсолютно неправдоподобное, нереалистичное, неоправданное определение того, что значит иметь дело с вещами:

Таким образом, материя представляет собой отказ мыслить вне пространственных и временных характеристики и прийти к концепции индивидуальной сущности. Именно подобный отказ вызвал путаницу *внесения мыслительной процедуры в факты природы*. Сущность, избавленная ото всех характеристик, кроме пространственно-временных, приобрела физический статус окончательной структуры природы; таким образом, развитие природы понимается как всего-навсего происходящие с материей происшествия в ходе ее полного приключений путешествия сквозь пространство³².

Неверно, что существуют устойчивые факты, и что наш следующий шаг — решить, можно ли их использовать для объяснения чего-либо. Неверно и что другое решение заключается в атаке, критике, разоблачении, историзации этих фактов, с целью показать, что они

²⁹ Whitehead A.N. *The Concept of Nature*. Cambridge, 1920. P. 29.

³⁰ См.: *Stengers I. Penser avec Whitehead: Une Libre et sauvage creation de concepts*. Paris, 2002. Значительное преимущество этой книги в том, что автор принимает всерьез как научные взгляды Уайтхеда, так и его теорию Бога.

³¹ Whitehead A.N. *The Concept of Nature*. Cambridge, 1920. P. 28-29.

³² Whitehead A.N. *The Concept of Nature*. Cambridge, 1920. P. 20.

сфабрикованы, интерпретированы, изменчивы. Неверно и то, что нам лучше бежать от них в собственный разум или дополнять их символическим или культурным измерением; дело в том, что факты — плохой уполномоченные опыта и эксперимента и, я бы добавил, запутанный клубок полемики, эпистемологии, модернистской политики, который никоим образом не способен представлять то, чего требует реалистическая установка.³³

Уайтхед не из тех авторов, которые не позволяют читателю задремать, но мне хотелось бы обрисовать хотя бы *направление* новой критической установки, которой было бы неплохо заменить набившую оскомину методологию большинства социологических теорий.

Решение, на мой взгляд, заключено в этом многообещающем термине «собрание», который использует Хайдеггер для объяснения «веществования вещи». Я хорошо знаю, что Хайдеггеру и Уайтхеду не о чем было бы говорить друг с другом. Однако, тот термин, которым последний воспользовался в «Процессе и реальности» для описания «актуальных сущностей» — он обозначает то, что я называю «проблемами», — звучит как «коллективы» (*societies*). Это же слово, кстати, использует Габриэль Тард, подлинный основатель французской социологии, для описания сущностей всех видов. Оно достаточно близко к слову «ассоциация», которое я постоянно использовал для описания объектов науки и технологии. Эндрю Пикеринг использовал бы термин «валцы практики».³⁴ Независимо от используемых слов, представленное здесь — это совершенно другая установка, разительно отличающаяся от критической: не бегство к условиям возможности данности фактов, не добавление чего-то более человеческого, чего не хватает не-человеческим фактам, а скорее разноплановое исследование средствами антропологии, философии, метафизики, истории, социологии, направленное на выявление *количества участников*, собираемых в вещь, благодаря чему вещь существует и продолжает существовать. Объекты — просто несостоявшиеся собрания, факты, которые не были надлежащим образом собраны³⁵. Неподатливость фактов, демонстрируемая пинающим бульжник киником — «это существует, нравится вам это или нет» — похожа на упрямство политических демонстрантов: «это — США, любите их или убирайтесь», то есть, неважная замена любому виду живого, отчетливого, устойчивого, славного, долгосрочного существования.³⁶ Собрание, т.е. вещь, проблема, нечто, обсуждаемое на *вече*, также может быть очень устойчивым, если количество участников собрания, ее ингредиентов, являющихся или не являющихся людьми, не будет заранее ограничено³⁷. В корне неправильно делить коллектив, как я это называю, на устойчивые факты, с одной стороны, и толпы, которые легко распустить — с другой. Архимед говорил от лица всей традиции, когда воскликнул: «Дайте мне неподвижную точку опоры, и я переверну Землю», но не выступаю ли я от лица другой, гораздо менее престижной, но, может, такой же уважаемой традиции, если, в свою

³³ То, что факты представляют теперь уже довольно редкую и сложную историческую интерпретацию опыта, убедительно показали многие авторы; фрагменты этой истории описаны в таких работах, как: *Licoppe C. La Formation de la pratique scientifique: Le Discours de l'experience en France et en Angleterre (1630-1820)*. Paris, 1996; *Poovey M. A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society*. Chicago, 1999; *Daston L., Park K. Wonders and the Order of Nature, 1150-1750*. New York, 1998 и *Picturing Science, Producing Art* // Jones C.A., Galison P., Slaton A. (eds.). New York, 1998.

³⁴ См.: *Pickering A. The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science*. Chicago, 1995.

³⁵ См.: *Latour B. Politics of Nature: How to bring the Sciences into Democracy*. Cambridge, Mass., 2004.

³⁶ См. интересную интерпретацию реалистической методологии у *Ashmore M., Edwards D., Potter J. The Bottom Line: The Rhetoric of Reality Demonstrations* // *Configurations*. 1994. №2 P.1-14.

³⁷ В этом состоит вызов новой выставки, которую я курирую вместе с Питером Вайбелем в Карлсруэ. Она запланирована на 2004г. и носит рабочее название «Делая вещи публичными» (*Making Things Public*). Эта выставка будет исследовать то, на что проект *Iconoclasm* только указал — а именно, то, что располагается за пределами имиджевых войн.

очередь говорю: «Дайте мне проблему, и я покажу вам землю и небеса, которые нужно собирать, чтобы они сохраняли устойчивость»? На мой взгляд, бессмысленно оставлять реалистический словарь только для первого восклицания. Критик — не тот, кто разоблачает, но тот, кто собирает. Критик — не тот, кто выдергивает ковер из-под ног наивных верующих, но тот, кто предлагает участникам места для собраний. Критик — не тот, кто бесцельно чередует антифетишизм и позитивизм как пьяный бунтарь на картине Гойя, но тот, для кого нечто сконструированное остается хрупким, а значит, требует усиленной заботы и осторожного обращения. Я понимаю, что нужно обновить и само понятие конструктивизма, чтобы добраться до сути этой полемики, но я сказал достаточно, чтобы указать направление критике — не *прочь от*, но *в сторону* собрания, Вещи.³⁸ Не на запад но, так сказать, на восток.³⁹

Если мы выберем этот новый путь, перед нами встанет следующая практическая проблема: мы должны будем связать со словом «критицизм» целый ряд новых позитивных метафор, жестов, установок, рефлекторных реакций, привычек, способов мышления. Чтобы начать формирование таких ассоциаций, я приведу еще одно определение критики из самого неожиданного источника — работы Алана Тьюринга о мыслящих машинах⁴⁰. Для этого у меня есть хорошая причина: казалось бы, это типичная работа о формализме, связанная с рождением одного из идиологов — если использовать антифетишистские клише — современной эпохи, а именно, компьютера, и, тем не менее, эта работа при чтении кажется такой барочной и китчевой. В ней собрано такое поразительное множество метафор, существ, гипотез, аллюзий, что сегодня ее вряд ли приняло бы какой-либо журнал. Даже «Social Text» отверг бы ее как очередную мистификацию! «Ну уж нет, хватит, — без сомнения, сказали бы они, — обжегшись на молоке...». Разве можно принять всерьез статью, где после упоминания мусульманок, наказания мальчиков, экстрасенсорного восприятия говорится следующее: «Пытаясь сконструировать такие машины мы не должны бесцеремонно узурпировать Его власть даровать души, подобно тому, как мы не делаем этого, производя на свет детей. В обоих случаях мы являемся скорее Его инструментами, создавая вместилища для созданных им душ»⁴¹.

Столько богов, и все – в машинах. Помните речь Буша о команде шаттла «Колумбия», вернувшейся в свой небесный дом, не вернувшись в земной? Тьюринг также не может не говорить о Боге — о его созидательной мощи, когда речь идет об этой наиболее искусной машине, компьютере, который он изобрел. Именно это он имеет в виду. Компьютер таит в себе множество сюрпризов: вы получаете от него намного больше, чем вкладываете в него. Статья Тьюринга самым ярким образом снова демонстрирует, что все объекты рождаются вещами, что всем фактам, чтобы существовать, требуется умопомрачительное разнообразие

³⁸ Данная статья может служить дополнением к другой: *Latour B. The Promises of Constructivism // Chasing Technoscience: Matrix for Materiality / Ihde D., Selinger E. (eds.). Bloomington, Ind., 2003. P.27-46.*

³⁹ Вот почему, хотя я и разделяю беспокойство Томаса де Зенготиты (*de Zengotita T. Common Ground: Finding OurWay Back to the Enlightenment // Harper's. 2003. №306 P.35-45*), я думаю, что он ошибочно выбрал *направление* движения — назад в будущее; призыв вернуться к «естественной» установке — признак ностальгии.

⁴⁰ См.: Тьюринг А.М. Вычислительные машины и разум // Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании и о душе. М., 2003. С.47-60. См. также, комментарии Пауэрса к этой работе в *Galatea 2.2 (New York, 1995)* — это критика в самом благородном смысле слова. Чтобы понять контекст этой работы, см.: *Hodges A. Alan Turing: The Enigma. New York, 1983.*

⁴¹ Тьюринг А.М. Вычислительные машины и разум // Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании и о душе. М., 2003. С.51.

проблем⁴². Это приводит к удивительному результату: мы не можем контролировать то, что сами сфабриковали — объект, о котором идет речь в следующем определении критики⁴³:

Давайте ненадолго вернемся к возражению леди Лавлейс — что машина может делать только то, что мы ей приказываем. Можно сказать, что человек может «ввести» идею в машину, после чего та каким-то образом ответит и погрузится в состояние покоя, как струна фортепиано после удара молоточка. В качестве другой аналогии можно предложить ядерный реактор, размер которого меньше критического: введенная идея — это нейтрон, попадающий в реактор снаружи. Каждый такой нейтрон вызывает некое возмущение, в конце концов затихающее. Однако если реактор увеличить до достаточно большого размера, вызванное таким нейтроном возмущение, вероятно, будет продолжаться и возрастать до полного разрушения реактора. Существует ли подобный феномен для разумов, и возможен ли он в случае машины? Кажется, в случае человеческого разума такое возможно. Большинство их кажется «докритическими», т.е. в нашей метафоре соответствуют реакторам, размер которых меньше критического. Когда такому разуму представлена идея, в ответ появляется в среднем менее одной идеи. Немногие из разумов — сверхкритические. Если такому сознанию предложить идею, то может возникнуть целая «теория», состоящая из вторичных, третичных и более опосредованных идей. Сознание животных определенно кажется докритическим. Придерживаясь этой аналогии, мы задаемся вопросом: «Можно ли создать сверхкритическую машину?»⁴⁴.

Безусловно, мы все знакомы с докритическими разумом. Что было бы с критикой, если бы она могла ассоциироваться с *большим*, а не с *меньшим*, с *умножением*, а не с *вычитанием* и *уменьшением*? Критическая теория давно уже мертва; можем ли мы снова стать критиками в том смысле, который вкладывает в этот термин Тьюринг? То есть, генерировать придумывать больше идей, чем мы получили, наследовать выступать в качестве преемников престижной критической традиции, но не позволять ей прерваться или «впасть в состояние покоя» как рояль, на котором больше не играют. Для этого нужно, чтобы все сущности, включая компьютеры, перестали бы быть объектами, которые определяются только в терминах ввода и вывода, и снова стали бы вещами — посредниками, собирающими и объединяющими гораздо большее количество складок, чем в «единой четверице». Если это окажется возможным, критикам можно было бы позволить

⁴² Неформалистское определение формализма было предложено Брайаном Ротманом в *Rothman B. Ad Infinitum: The Ghost in Turing's Machine: Taking God out of Mathematics and Putting the Body Back In*. Stanford, Calif., 1993.

⁴³ Тьюринга можно считать первым и лучшим программистом, поэтому те, кто верят в возможность описать машины на языке вводов и выводов должны подумать над его признанием:

Машины удивляют меня очень часто. Это происходит потому, что я не делаю расчетов относительно того, что от них можно ожидать, а если и делаю, то торопливо и недостаточно аккуратно. Например, я говорю себе: «Наверное, напряжение здесь такое же, как и там; предположим пока, что так и есть». Естественно, я часто ошибаюсь, и результат бывает для меня сюрпризом, поскольку к концу эксперимента я уже успеваю забыть о своих предположениях. Это признание делает меня уязвимым для критики моей небрежности, но не может служить основанием для сомнения в том, что я испытываю искреннее удивление. (Тьюринг А.М. Вычислительные машины и разум // Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании и о душе. М., 2003. С.56-57)

Об этом неформалистском определении компьютеров см.: *Cantwell B.S. On the Origin of Objects*. Cambridge, Mass., 1997.

⁴⁴ *Turing A.M. Computing Machinery and Intelligence, Mind*. 1950. №59. P.454. (В русском переводе последняя, седьмая, часть статьи «Learning Machines отсутствует».)

подобраться еще ближе к важным для нас проблемам, и, наконец-то, мы могли бы сказать им: «Да, пожалуйста, работайте с ними, объясняйте их, раскрывайте их». И мы навсегда оставили бы позади борьбу с идолами.

Перевод с английского Маркина Полина
под ред. Гавриленко С., Писарев А., Астахов С., Быков Е.